ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1996

© 1996 г. А. ТИМБЕРЛЕЙК

ВКУСИТЬ ОТ ДРЕВА ПОЗНАНИЯ И УБОЯТЬСЯ: ВАРИАТИВНОСТЬ В РАЗВИТИИ ВИНИТЕЛЬНОГО—РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

(По поводу книги В.Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994. 224 с.)

Нельзя не поразиться этому монументальному исследованию. Нельзя не поразиться тому факту, что оно появилось только теперь, на нынешнем продвинутом этапе научного развития (как случилось, что оно не было написано десять лет назад или пятьдесят?). Нельзя не поразиться громадному объему собранного и проанализированного материала, изощренности и строгости анализа. Нельзя не поразиться, наконец, и методологическим постулатам этого исследования.

Излагаемая обычно в различных пособиях точка зрения на развитие винительного—родительного (В = Р, если пользоваться удобным сокращением Крысько) в восточнославянском состоит приблизительно в следующем. К тому времени, когда образуется достаточный корпус письменных источников, документирующих восточнославянский, употребление родительного в качестве винительного у существительных ед.ч. м.рода *о*-основ, выступающих в функции прямого объекта и обозначающих (взрослые) человеческие существа, преобладает, хотя и не является вполне последовательным. В = Р употребляется менее регулярно, если ситуация осложняется одним из следующих обстоятельств: существительное обозначает не взрослого человека или не человека вообще; существительное не относится к *о*-склонению; существительное употреблено в предложной конструкции. Со временем В = Р распространяется на все одушевленные существительные ед.ч. м.рода (кроме существительных от **а*-основ). В процессе распространения В = Р употребляется более последовательно с именами, обозначающими лиц, нежели животных, с индивидуальными обозначениями лиц, нежели с обобщенными, и т.д. Позднее, когда утрачивается различие между именительным и винительным у существительных м.рода во мн.числе, В = Р развивается и во мн.числе, у имен м.рода ранее, чем и имен ж. (и ср.) рода, и опять же в зависимости от характера референции, присущего имени в определенном контексте. Развитие тех же явлений у местоимений, приходящееся приблизительно на тот же хронологический отрезок, идет в основном параллельно, хотя зависит от иных параметров, чем у существительных[1]. С каждым категориальным контекстом можно соотнести определенный период, продолжительностью приблизительно в столетие или несколько более, в который в основном происходит данное изменение.

---

[1] Изменения у местоимений тесно связаны с их энклитическим или неэнклитическим характером, как это хорошо известно для местоимений первого и второго лица (клитика **мѧ** — ортотоническое *мене*). Для третьего лица, которому было посвящено исследование Э. Кленин [Klenin, 1983], статус энклитики также является решающим фактором. В Повести временнѣ́х лет [1962] настоящий вин.ед. м.рода **и** употребляется только, когда местоимение непосредственно следует за глаголом и по всей видимости является энклитическим (**единъ ею извлекъ мечь проньзе и къ срⷭ҇цю** ⟨6523 г., I, 46⟩) или (редко) когда местоимение стоит во второй позиции во фразе и присоединяется в качестве клитики к первому слову или к другой клитике (**како бы и погꙋбити** ⟨6523 г., I, 45 об⟩). **Єго**, напротив, встречается в неэнклитической позиции (**кго же любѧше повелнкꙋ Борисъ** ⟨6523 г., I, 46⟩; **не ѩзъ кго слѣпилъ но Дв҃дъ** ⟨6605 г., I, 88об⟩).

Рассматриваемое исследование не ограничивается лишь развитием традиционной концепции и заполнением существующих лакун. Оно бросает прямой вызов всей совокупности стереотипов, относящихся к развитию винительного—родительного. К числу отдельных мифов, на которые нападает исследователь, относятся следующие.

— Что имелись существенные различия, обусловленные типом основы. Автор доказывает, напротив, что В = Р у **i*-основ возникает не позднее, чем у **o*-основ. Равным образом, когда позднее В = Р развивается у существительных м.рода во мн.числе, это с одинаковой скоростью происходит и для **a*-основ и для **o*-основ [Крысько 1994: 75, 111, 115]. Род, однако же, остается в числе факторов, влияющих на изменение: В = Р развивается раньше в м.роде, нежели в женском [Там же: 116].

— Что развитие В = Р зависит от социального статуса лица, обозначаемого существительным [Там же: 28—35].

— Что В = Р появляется ранее у существительных, обозначающих лицо, нежели у существительных, обозначающих животных. Автор, напротив, утверждает, что процесс перехода к В = Р начинается у названий животных не позднее, чем у названий лиц: "Как мы убедились, названия животных в ед.ч. с самого начала письменного периода обнаруживают принадлежность к классу одушевленных имен..." [Там же: 113; ср. еще с. 47 и сл.]. Во мн.числе переход к В = Р у имен, обозначающих животных, начинается, по мнению автора, в XIII в. [Там же: 113], вскоре после начала того же процесса у имен, обозначающих лиц. Для объяснения хорошо известных примеров того, как В = И у имен, обозначающих животных, появляется в течение столетий после древнейшего периода, предлагается считать, что полное обобщение В = Р (в отличие от начала этого процесса) было задержано рядом вторичных процессов [Там же: 19]. Сверх того утверждается, что метафорическая персонификация не имеет никакого отношения к развитию В = Р [Там же: 55].

— Что возвратное притяжательное прилагательное свои задерживает развитие В = Р [Там же: 12 и сл.].

— Что совпадение им.мн. и вин.мн. у существительных м.рода и связанное с ним развитие В = Р происходит в XIV в. В.Б. Крысько полагает, напротив, что совпадение имело место уже в XI (или XII) в. [Там же: 104], тогда как начало перехода к В = Р относится к XII (или XIII) столетию. [Там же: 104, 111, 115].

Эти атаки кажутся почти что пощечиной ученому вкусу: как могли поколения исследователей заблуждаться столь решительно? В определенном смысле различия в датировках представляются, однако, менее существенными, чем могло бы показаться. Предшествующие исследователи исходили из молчаливого допущения, согласно которому письменный и устный языки переживают одни и те же постепеные изменения; изменение сначала происходит в устном языке, а затем, с некоторой задержкой, — в письменном. Датировки, дающиеся в учебных пособиях, относятся ко времени, когда изменение можно наблюдать в полном объеме. Автора же разбираемого исследования интересует "первый не вызывающий сомнений пример", который может рассматриваться как прямое отражение спонтанного устного употребления. Ср. еще: "Приведенные выше датировки развития В = Р во мн.ч. исходят из первых фиксаций соответствующих форм в письменности, т.е. ориентируются на распространение этих инноваций в народно-разговорном языке" [Там же: 118].

До некоторой степени, таким образом, речь идет о том, какой ставится вопрос: когда изменение в основном произошло (традиционная постановка) или к какому времени относится первая фиксация (вопрос Крысько). Проблема в том, как поступать с ответами. Например, в древнейших восточнославянских текстах В = Р отмечается как у существительных, обозначающих животных, так и, естественно, у существительных, обозначающих лиц. Если мы пользуемся критерием первой фиксации, нужно сделать вывод, что В = Р у имен одушевленных появляется столь же рано, как и у имен личных. Это заключение отличается от общепринятого, основывающегося на том,

что, поскольку В = Р менее последовательно встречается у неличных одушевленных существительных, он представляет более позднее явление. Таким образом различия в формулировке вопроса о датировке могут обусловить существенно разные ответы.

На каждом шагу автор заостряет полемику, цитируя и опровергая традиционные мнения. Его риторическая установка ниспровергателя авторитетов не только придает живость и остроту дискуссии, но служит и еще двум целям. Первая из них (она будет подробно разобрана ниже) — демифологизировать священный постулат о том, что анализируемые изменения были постепенными и зависимыми от семантики. Вторая, связанная с первой, — предложить новую гипотезу происхождения категории одушевленности и ее формального выражения, состоящего в употреблении формы родительного в функции винительного. Представляется удобным рассмотреть эти две основные цели в обратном порядке.

Большинство гипотез о генезисе В = Р, за исключением некоторых старых предположений о том, что В = Р у существительных возникает из-за изначального синкретизма родительного и винительного у тех или иных местоимений (**kogo* или винительного-родительного **mene*, **tebe* у Мейе), опираются на три идеи. Во-первых, то, что по форме выглядит как родительный, в синтаксическом плане является винительным[2]. Во-вторых, употребление родительного в каком-то классе существительных предполагает, что в нем имеет место синкретизм именительного и винительного для данного числа и типа парадигмы. В-третьих, употребление В = Р является производным от синтаксической функции генетива как падежа объекта. Обычно предполагается, что при одушевленном объекте возникала опасность смешения субъекта и объекта и именно устрашающий призрак этого смешения обусловил возникновение В = Р. Опасность смешения, однако, могла быть куда менее очевидной и угрожающей, чем обычно считается, а мотивация В = Р могла быть более абстрактной. Естественно думать, что при типичном переходном действии субъект является более одушевленным, чем объект [Silverstein 1977; Hopper, Thompson 1980]. В силу этого язык будет использовать все те средства, которые ему доступны, чтобы снабдить объекты, являющиеся одушевленными (или определенными, индивидуализованными, местоименными — в зависимости от языка) таким морфологическим показателем, который отличался бы от показателя субъектов действия[3]. С этой точки зрения В = Р в славянских языках представляет собой один из многих возможных механизмов, подобных, например, появлению в испанском употребления выражающего направленность предлога *a*, который служит морфологическим показателем одушевленного (определенного, местоименного) объекта[4].

Вне зависимости от того, искалась ли мотивация в опасности смешения или в более абстрактном понятии маркировки одушевленных существительных в функции объекта, трудность всегда заключалась в определении механизма: к а к и м о б р а з о м первоначальный синтаксический родительный превратился в — морфологически-винительный, способный быть показателем одушевленности? В исследованиях, появившихся на рубеже столетий, источник искали в той или иной специфической конструкции с родительным падежом[5]. Сложность состоит в том, как обнаружить сходство между одушевленностью и любой из специфических функций родительного, например, партитива; никакой общности в таких случаях не наблюдается[6]. Источником могли бы быть конструкции с глаголами восприятия, если бы соблюдалось

---

[2] "Au point de vue de la syntaxe, ces prétendus, génitifs sont des accusatifs; et il n'a pas confusion de deux cas, mais, ce qui est tout autre chose, de deux formes casuelles; le fait est purement morphologique" [Meillet 1897: 24].

[3] Многочисленные примеры приводятся в работе Томсона [Томсон 1909].

[4] В испанской лингвистической традиции отчетливо указывается на тот факт, что употребление *a*, противопоставленное отсутствию этого предлога, зависит не только от одушевленности в узком смысле этого термина, но и от типа референции. А. Белло пишет одновременно о "personalidad y determinación" [Bello 1981, § 889].

[5] Многочисленные примеры можно найти у Томсона [Томсон 1909].

[6] Томсон дает обзор различных возможностей [Томсон 1908б].

правило, по которому винительный употреблялся бы для обозначения воспринимаемого предмета, а родительный — для обозначения лица; однако отнюдь не очевидно, что глаголы восприятия следовали подобной модели управления [Meillet 1897: 157]. Томсон предположил, что *сынъ видитъ отьца* восходит к употреблению родительного падежа в интенциональных предикатах типа *он ищет шляпы*, но его объяснение никак эту связь не проясняет: "Правда, его [родительного падежа] значение несколько отличалось от значения вин.п., но в известных случаях эти падежи были бы сходны по значению" [Томсон 1908а: 245]. В = Р развивается прежде всего у индивидуализованных наименований: "Всякая новая форма вин.пад., отличная от именительного, должна возникнуть прежде всего при названиях лиц с конкретным индивидуально определенным значением" [Томсон 1909: 59]. Это, однако же, как раз те существительные, которые первыми перестают употребляться в родительном падеже, когда управление глагола меняется с родительного на винительный (как у глаголов *ждать, искать* и под. в современном русском языке). Факторы, содействующие появлению В = Р, представляются в этом случае прямо противоположными тем, которые способствуют генетивному управлению [Klenin 1983: 108]. Томсон оказывается вынужденным признать, что "потребность в форме преодолевает известное различие в значении" [Томсон 1909: 70].

Отдавая себе отчет в этом парадоксе, Э. Кленин выдвинула гипотезу, согласно которой В = Р восходит не к какой-либо определенной функции родительного, а возникает по мере того, как вообще употребление родительного дополнения ограничивается в пользу винительного. "Судьба утраченных форм родительного падежа состояла в том, что они были морфологически переосмыслены как формы родительного-винительного; источником родительного-винительного была морфологическая реинтерпретация родительного дополнения" [Klenin 1983: 104]. Если дело обстояло таким образом, мы должны были бы наблюдать постепенное изменение управления у ряда глаголов, при котором старый синтаксический родительный от неодушевленных существительных уступал бы место винительному, но сохранялся бы у одушевленных существительных. В действительности, однако, трудно выделить обширную группу глаголов, которым была бы свойственна существенная вариативность в управлении родительным и винительным падежом[7]. Реально мы можем отметить лишь постепенное расширение употребления форм родительного падежа от одушевленных существительных, выступающих как дополнение при глаголах, управляющих винительным падежом.

Возможно, именно трудности в установлении связи между родительным падежом и одушевленностью побудили автора рассматриваемой работы предложить новую интерпретацию. Построение этой новой гипотезы осуществляется в несколько этапов.

Сначала Крысько отмечает, что некоторые существительные ср.рода, такие, как им., вин. **podon* > **podъ*, совпадают по форме с существительными м.рода от *o*-основ в вин. падеже (**braton* > **bratъ*), а в конечном счете также и в им.падеже (**bratos* > > **bratъ*). (Безразлично при этом, как именительный совпал с винительным — в результате аналогического выравнивания номинатива по аккузативу, особой фонологической редукции конечного **-os* до **-ъ*, или по аналогии с *u*-основами.) Однако "[и]менно с позиции с и с т е м ы объединение ИП и ВП, отождествившее masculina T neutra, должно было представляться неприемлемым" [Крысько 1994: 160].

---

[7] Хотя В.Б. Крысько приходит к выводу, что "практически любой глагол, управляющий ВП объекта мог спорадически сочетаться с объектным РП и наоборот" [Крысько 1994: 166], двумя страницами ранее он пишет о трех классах глаголов, различающихся тем, что им в разной степени свойственна вариативность этого рода. Третий класс, состоящий из глаголов, "для которых и аккузативное, и генетивное управление являлись одинаково частотными", "включает прежде всего глаголы физического восприятия" [Крысько 1994: 164]. Таким образом, оказывается, что всего несколько глаголов — относящихся при этом к весьма специфическому семантическому типу — характеризуются действительно свободной вариацией генетивного и аккузативного управлений.

Далее, в поисках механизма, который мог бы предотвратить неприемлемое и неотвратимое смешение муж. и ср.рода, Крысько обращается к генетивному управлению, на котором сосредоточивались и все другие интерпретации. Камнем преткновения для этих интерпретаций был, как уже говорилось, тот факт, что генетивному управлению у глаголов благоприятствовали такие параметры, как неодушевленность, неопределенность, обозначение несчетных предметов, т.е. как раз противоположные тем, которые способствуют появлению В = Р. Избегая этой проблемы, автор утверждает, что вариативность винительного и родительного вовсе не обусловлена факторами такого рода. Вместо этого он, приводя ряд заставляющих задуматься, но тем не менее не слишком многочисленных примеров форм родительного, употребленных при глаголах, которые обычно не рассматриваются как управляющие родительным падежом, высказывает следующее предположение: "По-видимому, не будет преувеличением утверждать, что практически любой глагол, управляющий ВП объекта, мог спорадически сочетаться с объектным РП и наоборот" [Крысько 1994: 166]. Затем, основываясь на этих спорадических примерах, автор совершает логический скачок и утверждает, что между винительным и родительным имеет место свободная вариация[8].

В условиях полностью свободной вариации и тенденции избавиться от генетивного управления родительный от одушевленных существительных был переосмыслен как синтаксический винительный: синтаксические варианты типа {*имамь отьць*⟨винительный⟩ ~ *имамь отьца*⟨родительный⟩} превращаются в морфологические варианты типа {*имамь отьць*⟨винительный [= именительный]⟩ ~ *имамь отьца*⟨винительный [= родительный]⟩}. Формы неодушевленных существительных переосмыслению не подвергаются, и поначалу отношение {*имамь столъ*⟨винительный⟩ ~ *имамь стола*⟨родительный⟩} сохраняется в неприкосновенности. Изменения, произошедшие на этом этапе, вызывают "нежелательную синтаксическую омонимию В = Р типа *отьца* и РП типа *стола*". Эта омонимия, предположительно, требовала разрешения, которое и было достигнуто обобщением форм В = Р для одушевленных ({*имамь отьца*⟨винительный [= родительный]⟩}) и постепенной утратой формы родительного у неодушевленных ({*имамь стола*⟨родительный⟩}).

Это построение, состоящее из многих звеньев, трудно оценить в целом. Дважды обоснованием служит неприемлемая омонимия, выступающая как мотивирующий изменение фактор (один раз омонимия между **podъ* и **bratъ*, другой раз омонимия в парадигме {*имамь отьць ~ отьца ~ столъ ~ стола*}). Поскольку, как мы знаем, слияния происходят в языках постоянно, остается лишь недоумевать, почему именно эти случаи омонимии оказались столь неприемлемы.

Возникает и еще одна принципиальная проблема. Предлагаемая гипотеза опирается на реконструкцию такого состояния языка, которое не находит аналогии в языках, доступных нашему наблюдению; этому состоянию свойственна полностью свободная вариация между синтаксическими вариантами. Опираясь на подобную картину лингвистической праистории, предлагаемая реконструкция превращается в нечто в роде основного мифа, в котором видимый в настоящее время мир объясняется как результат теперь уже недоступного для наблюдения процесса создания порядка из первобытного недифференцированного хаоса. В мифе, с которым мы имеем дело, винительный и родительный наконец стали различаться, выкристаллизовавшись из темной массы свободной вариации — совершенно так же, как тьма и свет в самом

---

[8] В начале своей книги Крысько критикует другого исследователя за то, что тот подходит с излишней осторожностью к интерпретации отдельных форм родительного как примеров В = Р, поскольку "ни один из этих глаголов не обнаруживает в древнерусских памятниках сколько-нибудь регулярной сочетаемости с РП" [Крысько 1994: 17]. В другом случае [Там же: 107] автор, стремясь доказать, что ряд примеров с формами родительного мн.числа при глаголе *избити* является на самом деле реализацией В = Р, настаивает на том, что этот глагол управляет только аккузативом. Оба утверждения плохо согласуются с высказанным убеждением, что в какой-то период родительный и винительный находились в отношениях абсолютно свободной вариации.

знаменитом из всех мифе о сотворении мира: "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною ⟨...⟩ И сказал Бог: да будет свет. И стал свет ⟨...⟩ и отделил Бог свет от тьмы".

Одной из основных целей рассматриваемого исследования была новая интерпретация происхождения В = Р. Однако у работы Крысько имелась и другая цель, состоявшая не только в том, чтобы опровергнуть традиционные частные постулаты, касающиеся развития одушевленности, но и поставить под сомнение основополагающее понимание развития одушевленности как постепенного процесса. Во всех тех случаях, когда наблюдается вариативность, зависящая от того или иного фактора, Крысько показывает, что этот фактор не может сам по себе объяснить все случаи употребления каждого из вариантов[9]. Это, конечно же, вполне естественно. Вариативность всегда обнаруживает множество переменных: факторы регистра речи и социолингвистические параметры, равно как и факторы системные (лексическая семантика существительных и глаголов и — шире — смысл словосочетания в тексте). Изменение, рассматриваемое во времени, представляет собой процесс длительный, постепенный и нарастающий по многим переменным; его общие параметры остаются теми же, тогда как детали меняются[10]. Вариативность не может быть описана при помощи одной "строгой закономерности"; в ином случае никогда не было бы ни содержательной вариативности, ни самих изменений.

Мы должны быть удовлетворены, если нам удастся выделить какие-то закономерности, хотя бы частичные, которые уменьшают видимый хаос вариативности. Рассмотрим в качестве примера употребление В = Р у существительных м.рода во мн.числе. В "Повести временных лет" можно обнаружить несколько таких примеров. В одном из них употреблено словосочетание **созвати болѧре**, представляющее собой "классический пример" [Крысько 1994: 110]:

наоутриѧ же Ст҃ополкъ созва болѧръ и Кыѧнъ и повѣда имъ еже бѣ ему повѣдалъ Дв҃дъ ꙗко братъ ти убилъ а на тѧ свѣчалсѧ с Володимеромъ и хотѧть тѧ оубити ⟨6605 г., I, 87об⟩

Этот пример может быть не вполне достоверным, поскольку В = Р употреблен только в тексте Лаврентьевской летописи. В любом случае остается вопрос, почему писец — более ранний или более поздний — воспринял этот контекст иначе, чем контекст других шести примеров данного словосочетания, в которых употребляется В = И.

Обычно словосочетание **созвати болѧре** появляется в сообщениях о действии, целью которого было создание определенной ситуации, а именно ситуации диалога, в которой правитель просит совета, а **болѧре** его дают:

и созва цр҃ь болѧре своꙗ въ полату, и реч҃ имъ: што створимъ ꙗко не можемъ противу ему стати и рѣша ему болѧре посли к нему дары ⟨6605 г., I, 87об⟩

Люди, которых созвал византийский император, не рассматриваются как отдельные индивиды, но как все те, кто удовлетворяет формуле; это та группа, которая должна быть собрана, чтобы дать совет. В этих случаях, следовательно, существительное

---

[9] См., например [Крысько 1994: 68]: "Отсутствие строгих закономерностей в сочетаемости различных глагольных форм с В = Р, как и с В = И, доказывает нерелевантность морфологических признаков глагола для управляемого им существительного". Хотя в данном примере вывод представляется правильным, остается вопрос, во всех ли случаях можно игнорировать факторы, которые не реализуются в "строгой закономерности". В другом месте исследования [Крысько 1994: 65], рассматривая существительные, обозначающие животных [Крысько 1994: 65], автор сначала допускает, что "в некоторых случаях варьирование В = И и В = Р действительно может быть объяснено различием между неопределенным (неизвестным, впервые упоминаемым) и определенным (известным) объектом", однако затем, показав, что данный фактор не покрывает всех примеров, делает вывод, согласно которому "семантико-грамматические свойства нелично-одушевленных существительных не играли принципиальной роли в утверждении В = Р".

[10] В качестве примера изменения, условия которого не остаются постоянными во все время его протекания (параметры, обусловливающие обобщение окончаний в косвенных падежах мн.числа), см. [Живов 1993].

представляет собой органический или внутренний для данного действия объект; сочетание глагола и имени создает целокупную картину. То же самое наблюдаем в предложении:

Созва Володимеръ болѧры своꙗ и старци градьскѣ и реч҃ имъ се приходиша ко мнѣ Болгаре рѣкуще [...] Да что ꙋма придасте? что ѿвѣщаете ⟨6495 г., I, 36об⟩.

В нем сообщается, что Владимир создал ситуацию диалога со своими советниками.

Когда же **Ст҃ополкъ созва болѧръ и Кыꙗнъ**, его целью было не попросить у них совета, но внушить народу свою обманную версию событий. Иными словами, его целью было не создать ситуацию (противопоставленную отсутствию такой ситуации), участниками которой были бы лица, удовлетворяющие формуле и действующие именно в этом качестве (что соответствовало бы употреблению В = И), но оказать вполне определенное воздействие, создающее одно из ряда возможных состояний, на индивидов, участие которых не вытекает автоматически из описываемого события (как это и должно быть при В = Р). В силу тех же причин и другие примеры относительно раннего употребления В = Р от существительных м.рода во мн.числе, которые приводит Крысько, тяготеют к семантически ограниченной группе глаголов — либо к глаголам перемещения (*съгонити*), либо к глаголам насильственного изменения состояния (*избити*) [Крысько 1994: 106—107]. Оба эти типа глаголов сообщают, как правило, о результатах воздействия на уже существующее множество предметов или лиц, а не о создании ситуации. Эти факты соответствуют более общей закономерности, по которой, когда В = И и В = Р находятся в отношении вариативности, различие между ними касается типа описываемой ситуации; если описывается ситуация, участники которой определены формулой, вытекающей из природы события, употребляется В = И, если же речь идет о специфическом действии в отношении независимо определяемых индивидов, появляет В = Р.

Представляется целесообразным рассмотреть два относительно обширных корпуса текстов (см. [Timberlake 1966a]).

В "Повести временнѝх лет" употребление В = Р у существительных *о*-основ м.рода ед.числа уже является доминирующим. В таблице 1 приводятся статистические данные для четырех существительных, обозначающих лиц, в пяти контекстах, которые в дальнейшем обсуждаются более подробно.

Начнем с последнего, пятого, контекста. Когда существительное является частью предикативной конструкции, либо как именная часть сказуемого (**поставлю ꙋношю кнѧзѧ имъ** ⟨6523 г., I, 38⟩), либо как скрытый субъект предиката (**Заутра же видѣша людье кн҃зѧ бѣжавша** ⟨6577 г., I, 58об⟩), употребляется В = Р. В четвертом контексте, когда существительное стоит в аппозиции к имени собственному, старый В = И не употребляется почти никогда (обычно: **шедше ꙋбите**

Таблица 1

Формы вин.ед. от отдельных существительных в "Повести временнѝх лет"

Существительное	СЫНЪ		КНЯЗЬ		БРАТЪ		МУЖЬ		Всего	
Контекст	В = Р	В = И	В = Р	В = И	В = Р	В = И	В = Р	В = И	В = Р	В = И
1) князь	3	1	4	1	6	0	3	1	16	3
2) князь свои	4	2	2	1	8	1	1	4	15	8
3) князь нашь	2	1	3	0	4	1	3	0	12	2
4) князь Изяславъ	14	1	1	0	6	0	0	0	21	1
5) князь бѣжавъ	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
Всего	23	5	16	2	24	2	7	5	70	14

брата моего Бориса ⟨6523 г., I, 45об⟩). В третьем контексте, когда у существительного имеется определение, выраженное притяжательным, отличным от *свои*, В = И встречается лишь в редких случаях (обычно: **въ градѣ идеже оубисте мужа моего** ⟨6453 г., I, 16⟩). Почти столь же редко употребляется В = И и в третьем контексте, когда существительное выступает без всякого определяющего его прилагательного (обычно: **вѣдѣхꙋ ꙗко сами ꙋбили кнѧзѧ** ⟨6454 г., I, 16⟩).

С заметной частотой старый В = И появляется лишь во втором контексте, когда существительное имеет в качестве определения возвратное притяжательное прилагательное *свои*. Как видно из таблицы 1, В = И у имен, имеющих в качестве определения *свои* (8 примеров из 23, т.е. 35%), встречается в три раза чаще, чем В = И в четырех других контекстах вместе взятых (6 примеров из 61, т.е. 10%). Различие в числах указывает, что наличие возвратного притяжательного прилагательного имеет по крайней мере статистический эффект[11].

Ранее предполагалось, что *свои* способствует сохранению старого В = И, поскольку, выступая в качестве определения при объекте, оно уничтожает потенциальную омонимию между субъектом и объектом [Томсон 1908b: 239]. Крысько, указывая, что антецедентом *свои* отнюдь не всегда является субъект высказывания, делает из этого вывод, что употребление *свои* не может быть релевантным фактором [Крысько 1994: 14—15]. Однако воздействие данного местоимения вполне может быть вызвано другими причинами. *Свои* благоприятствуют (хотя и не требует непременно) формульной интерпретации существительного: определяемое им имя относится к любому, кто находится в заданном отношении к субъекту[12]. Формульная интерпретация существительного соотносится с употреблением В = И (**ѿтꙋда понде внизъ и взѧ Любець и посади мужь своѝ** ⟨6390 г., I, 8⟩: *X* дал место *У*, где *У* относится к числу лиц, являющихся чиновниками *X*)[13]. Без атрибута *свои* существительное скорее может быть понято как относящееся к лицу, идентифицируемому независимо от контекста, и в этом случае уместен В = Р (**идеже оубисте мужа моего**: что касается *X*, который был моим мужем, вы убили *X*).

Выбор падежной формы соотносится, в конечном счете, не только с типом референции существительного, но и со смыслом сочетания глагола и имени, т.е. со смыслом всего высказывания. Сохранению старого В = И способствует экзистенциальный контекст, который предполагает соответствующую интерпретацию существительного как формульного. Это может быть проиллюстрировано примерами, которые приводит Крысько, показывая, что в Успенском сборнике имеются неожиданные случаи старого В = И от слова *богъ* [Крысько 1994: 26]. В этих примерах находим, в частности, глагол *имати*, который представляет собой основной переходный экзистенциальный глагол. Ср. экзистенциальный смысл фразы **разоꙋмѣхъ ꙗко бъ҃ великъ имаши** ⟨83б⟩ (ты имеешь в твоем владении такой *X*, что *X* есть могучий бог) с неэкзистенциальным

---

[11] В четырех из шести примеров словосочетания созвати **болѧре** с В = И существительное имеет в качестве атрибута возвратное притяжательное прилагательное *свои*, которое подчеркивает то обстоятельство, что данное существительное интерпретируется как наименование лица по той роли, которую оно играет.

[12] Семантическая функция аналогична здесь той, которую Пешковский [Пешковский 1956: 162] выделяет в минимальной паре, взятой им из монолога Годунова в сцене в царских палатах. В предложении *В семье моей я мнил найти отраду / Я дочь мою мнил осчастливить браком* невозвратное притяжательное местоимение соответствует действию, относящемуся к конкретному лицу: что касается *У*, которая является моей дочерью, я хотел устроить брак для *У*. В предложении *Кто ни умрет, я всех убийца тайный: / ⟨...⟩ / Я отравил свою сестру царицу*, возвратное местоимение соответствует тому, что лицо, бывшее объектом действия, определяется его отношением к субъекту действия: *X* убил *У*, *У* является сестрой *X*. Именно в силу этого отношения преступление, приписываемое Годунову, оказывается особенно отвратительным.

[13] Кратко этот вопрос рассмотрен в работе [Frink 1962]. Крысько трактует это значение в слове *мужь* как лексикализованное [Крысько 1994: 33].

смыслом фразы **блаженаꙗ' | же дьрьжащи въ роуцѣ вѣ|твь маслиньноу приде | въ градъ бл҃гословѧщи бл҃** ⟨там же⟩ (что касается *X*, где *X* есть конкретный бог, некоторое действие распространяется на *X*) [Князевская и др., 1971].

Значима и модальность высказывания[14]. Так, форма В = Р от существительного *сынъ* ожидается, когда имеется в виду событие в прошлом и в силу этого лицо, о котором идет речь, обычно отождествлено независимым от самого данного высказывания: **и кнѧзѧ ихъ убиша Тꙋгоркана и сн҃а ѥго** ⟨6604 г., I, 77⟩. В = И появляется в словосочетании *сынъ свои* в модальном распределительном контексте: **рѧдъ имѣлъ ꙗко Новꙋгороду быти Ст҃ополчю и посадити сн҃ъ свои в немь и Володимерꙋ посадити сн҃ъ свои в Володимери** ⟨6610 г., I, 93⟩. В этом высказывании сыновья рассматриваются не как единственное в своем роде лицо, а как переменные (для каждого *X*, где *X* есть князь, существует сын *X*-а, такой, что *X* сажает сына *X-а* в таком-то городе). Модальность представляется значимой и для четырех сообщений о рождении сыновей, помещенных под 6494 г. О трех рождениях, которые уже случились, сообщается с помощью В = Р (в том числе: **и ѿ слова сего зачатъ Слово Бж҃ье в вутробѣ и породи сн҃а [и] нарє҃ има єму Іс҃ъ** ⟨6494 г., I, 34об⟩). Напротив, пророчество об одном будущем рождении (сохранившееся только в Ипатьевском списке) и излагается с помощью В = И: **и пакі се двца въ оутробѣ зачнеть [и родить сынъ] и прозо[в]оуть имѧ єму Єньманлъ** ⟨6494 г., I, 34⟩. Пророчество состояло в том, что случится определенное чудесное событие: у девы появится *X*, при этом *X* соответствует дефиниции сына. Таким образом, старый В = Р продолжает употребляться с объектами экзистенциальных или модальных предикатов, которые придают имени формульную референцию.

Второй пример. Экспансию В = Р во мн.числе у существительных м.рода, обозначающих лицо, можно наблюдать в деловом языке Полоцка первой половины XV столетия. Хотя Станг безнадежно заявляет, что "man findet hier ein Nebeneinander von beiden Konstruktionen, daß schwerlich unter irgendwelche Regeln zu bringen ist" [Stang 1939: 128], определенная регулярность все же просматривается [Timberlake 1996a]. В большинстве случаев в это время уже употребляется В = Р: **Пак ли нѣ заплатитѣ конѣ, ино велимъ здѣсѣ вашихъ купцовъ, правыхъ людѣи, пограбити** ⟨UB 11.92, 1450⟩; **и мы по тому слюбленью по Гармонову вашихъ есмо купцовъ пропустили к Витебьску и к Смоленску, оли же и на Москвѣ побывали** ⟨UB 10.272, 1446⟩. В = И встречается приблизительно в одной четверти всех примеров, в контекстах, сообщающих, что была создана ситуация, в которой лица, определяемые формулой, оказались в данном месте: **А про то есмѣ посылали к вамъ свои послы на имя** ⟨...⟩ ⟨UB 11.93, 1450⟩ (люди того типа, которых посылают с определенной миссией, были посланы и теперь находятся в вашем городе); **инъ тати тые поимали и виричу вашему подавали** ⟨UB 10.168, 1445⟩ (люди того типа, которые подлежат аресту, были схвачены и теперь находятся в вашем ведении). Последний пример показывает, между прочим, что употребление В = И не было полностью лексикализовано. Поразителен тот факт, что параметры сочетаемости глагола и существительного в западной редакции делового языка XV в. (**посылали свои послы**) оказываются теми же, что и в "Повести временных лет", написанной за три столетия до этого (**посади мужь свои**).

Итак, в двух рассмотренных выше корпусах текстов, равно как и в более ограниченном наборе примеров инноватиного В = Р в **Ст҃ополкъ созва болѧръ и Кыѧнъ** и консервативного В = И в **бъ҃ великъ имаши**, В = И имеет тенденцию употребляться постольку, поскольку в высказывании сообщается о создании ситуации, действующие

[14] Модальность высказывания часто взаимодействует с типом референции у имени, как это имеет место в обсуждаемых Е.В. Падучевой примерах с *-то* и *-нибудь* [Падучева 1985, гл. X].

лица которой определяются общей формулой; в то же время В = Р имеет тенденцию употребляться постольку, поскольку в высказывании сообщается о действии, распространяющемся на лицо, которое определено независимо от данного высказывания. Это, конечно, идеализированное полярное противопоставление, которое требует уточнений, если мы хотим адекватно описать употребление в определенном контексте в конкретный момент времени, однако оно задает принцип, которому подчиняется вариативность морфологических форм в истории становления винительного—родительного у существительных.

В свете подобных данных, указывающих на системный и постепенный характер изменения и вариативности — данных, согласующихся с длительной традицией их лингвистической интерпретации, — вызывает удивление категорическое утверждение Крысько, согласно которому "остается констатировать, что вариативность беспредложных ВП и РП в древнерусском языке не обусловливалась ни семантическими, ни грамматическими, ни какими бы то ни было другими факторами" [Крысько 1994: 166].

Такой подход к вариативности связан в рассматриваемой монографии с противопоставлением двух типов языка и двух типов изменения [Крысько 1994: 52]. В развитии "живой речи" на какой-то стадии доминирует одна форма. Затем обе формы мирно сосуществуют в свободной вариации без всякой семантической нагрузки, и после этого одна из форм, обычно более новая, обобщается. Этой "живой речи" противостоит неорганичная искусственность письменного языка. В последнем в результате "вторичных процессов, не обязательно имеющих народно-разговорную основу" [Крысько 1994: 53], сосуществующим вариантам действительно могут быть приписаны семантические различия. Таким путем и образуется "искусственная вариативность".

С этими представлениями можно было бы согласиться постольку, поскольку утверждается, что варианты не появляются на свет с врожденными семантическими различиями. Однако когда бы и в какой бы разновидности языка вариативность не появилась, варианты непременно получают какую-то значимость — они оказываются различны по регистру, или по значению, или по контекстуальной дистрибуции. Сомнительно, что разные типы языка ведут себя в этом по-разному. Проиллюстрирую это одним примером. В американском испанском [s] в позиции конца слова имеет тенденцию утрачиваться. Эта тенденция сильнее проявляется в неформальном разговоре, нежели в формальном стиле, в большей степени у необразованных носителей, чем у образованных. В распределении вариантов играют роль и внутренние системные факторы. Например, [s] скорее утрачивается в позиции перед согласным следующего слова, нежели в позиции сандхи, когда следующее слово начинается с гласной. Влияние этого системного и натурального фактора ([s] лучше сохраняется в позиции перед гласной) в равной мере распространяется на образованных и на необразованных носителей, на спонтанную речь и на речь формальную (см. среди прочих возможных описаний [Terrell 1986].

Еще один пример можно привести из классического исследования Лабова. Собранный им материал показывает, что фразы, в которых в стандартном английском стояла бы связка, в речи нью-йоркских афро-американцев употребляются как со связкой, так и без нее [Labov 1969]. Связка обычно оказывается эксплицитно выраженной[15], если предикативная составляющая не является глаголом, а именно когда она является существительным (71% выраженных употреблений) (*I'**m** not no strong drinker*) или прилагательным (61% выраженных употреблений) (*I **was** small*). Напротив, связка обычно остается невыраженной, когда она употребляется в качестве вспомогательного глагола с причастием наст. времени в прогрессивной конструкции (18% выраженных употреблений) (*he just fell' like he ø gettin' cripple' up from arthritis*) или с контрактированной формой буд. времени (всего 10% выраженых употреблений) *gon'*

[15] Под эксплицитной выраженностью подразумеваются как контрактированные формы (например, *I'**m***), так и формы полные (например, *I **am***).

< ***gonna*** < *going to* (*he ø gon' try to get up*). Очевидно, что вариативность подчиняется здесь принципу дополнительности: связка не требует эксплицитного выражения постольку, поскольку сама предикативная составляющая является глагольной. "Вариативность" в этой несомненно "живой речи" не является свободной или произвольной, но подчиняется системным, имманентным принципам. Хотя различия между устным и письменным типами языка безусловно существуют, параметры вариативности в них сходны. В обоих вариативность определяется как системными факторами, так и факторами языкового регистра и социолингвистических параметров.

В подходе рассматриваемого исследования к вариативности ощущается желание автора отнести истоки анализируемого им изменения назад, в первобытный Эдем, когда язык был устным и подлинно русским (и потому отразившимся лучше всего в диалекте Новгорода), а вариативность оставалась девственной и свободной вариативностью, не оскверненной искусственными одеяниями семиотической значимости. Но, к сожалению, вкусивши однажды от древа познания, оказывается невозможным укрыться от вариативности и вернуться к безгреховной природе ("Голос Твой я услышал в Раю и убоялся, потому что наг, и скрылся"). Любое объяснение истоков формы винительного у одушевленных существительных должно учитывать один неприкрытый и хорошо наблюдаемый факт — факт вариативности и постепенности изменения.

Кажется, впрочем, что, в конце концов, используя идеи Кленин и Крысько, можно построить гипотезу о развитии формы винительного у одушевленных существительных, которая не игнорировала бы факт вариативности. Как согласны все исследователи, в раннем славянском одни глаголы управляли винительным (далее $V_{\langle\alpha\rangle}$), *другие родительным* (далее $V_{\langle\beta\rangle}$). Именные парадигмы могут быть распределены по трем классам: (a) неодушевленные существительные (например, **stolъ*), у которых именительный и винительный совпадают; (b) одушевленные существительные (например, **otьcь*), у которых именительный и винительный совпадают и (c) существительные, одушевленные или неодушевленные, у которых именительный и винительный не совпадают (например, **sestra* или **kosa* или существительные во мн.числе типа **stoli*). Отсюда получаем шесть морфосинтаксических моделей, схематически представленных на схеме.

Схема

Модели управления

	Имя	Аккузативное управление	Генетивное управление
(a)	**stolъ*, **medъ*	$\{V\langle\alpha\rangle\ N^{\langle\text{неодушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= именит.]}\rangle}\}$	$\{V\langle\beta\rangle\ N^{\langle\text{неодушевл.}\rangle}_{\langle\text{родит.}\rangle}\}$
(b)	**otьcь*, **bratъ*	$\{V\langle\alpha\rangle\ N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= именит.]}\rangle}\}$	$\{V\langle\beta\rangle\ N^{\langle\text{одушевл./}}_{\langle\text{родит.}\rangle}\}$
(c)	**sestra*, **kosa*, **stoli*	$\{V\langle\alpha\rangle\ N^{\langle\text{(не)одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [≠ именит.]}\rangle}\}$	$\{V\langle\beta\rangle\ N^{\langle\text{(не)одушевл.}\rangle}_{\langle\text{родит.}\rangle}\}$

Обращаясь к предположению Кленин ("источником родительного—винительного была *морфологическая реинтерпретация родительного дополнения*"), а затем к идее Крысько (реинтерпретация $\{$*имамь отьца*$_{\langle\text{родительный}\rangle}$ как *имамь отьца*$_{\langle\text{винительный [= родительный]}\rangle}\}$, можно утверждать, что форма родительного, употребленная с $V_{\langle\beta\rangle}$ глаголом, в принципе может пониматься либо как настоящий синтаксический родительный, обусловленный глаголом (таким образом $\{V_{\langle\beta\rangle}\ N_{\langle\text{родительный}\rangle}\}$), либо как винительный, который оказался совпадающим с родительным по морфологической форме (таким образом $\{V_{\langle\beta\rangle}\ N_{\langle\text{винительный [= родительный]}\rangle}\}$). При последней интерпретации

данная форма в принципе может подменять формы этимологического винительного, употребляющиеся с $V_{\langle\alpha\rangle}$ глаголами.

Вопрос тогда состоит в том, как эта подмена происходит в различных типах парадигм. В первом классе (неодушевленных) существительных не будет никакого стимула для замены унаследованного $\{N_{\langle\text{винительный [= именительный]}\rangle}\}$ на более новый $\{N_{\langle\text{винительный [= родительный]}\rangle}\}$, поскольку неодушевленные допускают синкретизм винительного и именительного. По другой причине эта замена не произойдет и в третьем классе парадигм (например, у существительных *a*-основ, таких как **sestra*, **kosa* или, первоначально, у существительных м.рода во мн.числе). Если мотивацией для утверждения B = P является стремление обеспечить для одушевленных существительных столь же четкое морфологическое различение именительного и винительного, как и для неодушевленных, никакой необходимости в B = P в этом классе не возникнет, поскольку в нем именительный, винительный и родительный уже различаются своей морфологической формой.

Второй парадигматический тип состоит из одушевленных существительных, которые (первоначально) не различали винительного и именительного. Если одушевленные выступают в функции объекта, возникает аномальная ситуация, когда винительный отличен от именительного у многих неодушевленных существительных (таких как **kosa*), но не у существительных одушевленных. По этой причине вполне естественно, что именно у тех одушевленных существительных, которым присущ синкретизм именительного и винительного, развивается, когда появляется такая возможность, особый объектный падеж специфичный для одушевленных; возможность эта состояла в том, что форма родительного, которая употреблялась при $\{V_{\langle\beta\rangle}\}$ глаголах, стала употребляться как винительный объекта при $V_{\langle\alpha\rangle}$ глаголах. При $V_{\langle\alpha\rangle}$ глаголах новый винительный $\{N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= родит.]}\rangle}\}$ будет конкурировать со старым $\{N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= именит.]}\rangle}\}$. В условиях этой конкуренции новый винительный будет употребляться постольку, поскольку существительное и соответствующий контекст будет одушевленным и индивидуализированным, следуя принципу, сформулированному Томсоном ("Всякая новая форма вин. пад., отличная от именительного, должна возникнуть прежде всего при названиях лиц с конкретным индивидуально определенным значением" — см. выше)[16].

Претерпел ли в действительности изменение старый родительный в $\{V_{\langle\beta\rangle}\ N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{родит.}\rangle}\}$, остается неясным — всякое изменение будет здесь скрытым. Возможно, такое изменение вовсе не было необходимым условием для экспансии новой формы на $\{V_{\langle\alpha\rangle}\ N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= родит.]}\rangle}\}$. По этому поводу можно вспомнить характерную историю изменения *napron* в *apron* в среднеанглийском, изменения, которое обычно (и справедливо) рассматривается как обусловленное двусмысленностью [n] в сочетании данного существительного с неопределенным артиклем: к какой из морфем относится [n], реализует ли *anapron* {*a # napron*} или {*an # apron*}? В одном документе XV в. инновативное *aprons* без [n]!) встречается во мн.числе (*lynnen clothe for aprons*), однако в то же самое время старое сочетание *a napron* сохраняется в ед.числе при неопределенном артикле, т.е. в том самом двусмысленном контексте, который мотивировал рассматриваемое изменение (*a naperon of lynyn-clothe of two elles*) [Timberlake 1996b]. Хотя здесь нет точной аналогии, для нас важно то обстоятельство, что двусмысленность в одном контексте может обусловить изменение в другом контексте, при том что этот исходный контекст сам по себе никак не меняется. Подобным же образом в этом случае один факт того, что форма объекта при $\{V_{\langle\beta\rangle}\}$ выглядит как

[16] При такой интерпретации свое естественное место находит тот переходный этап [Крысько 1994: 25], когда составляющие в пределах одной именной фразы стоят в разных падежных формах: **Оумершю Рюрикови предасть кнѧ[же]нье свое Ѡлгови ѿ рада имъ сущa въдавъ емꙋ сн҃ъ свои на рꙋцѣ Игорѧ** (6387 г., I. 8).

$\{N_{\langle винительный\ [= родительный]\rangle}\}$, создает возможность для этой формы употребляться при $\{V_{\langle\alpha\rangle}\}$ глаголах, даже если при этом $\{V_{\langle\beta\rangle} N_{\langle родительный\rangle}\}$ остается без изменения.

При таком подходе мы можем связать возникновение B = P с генитивным управлением глаголов (как и делает большинство исследователей), сохранить верность представлениям о постепенности изменений и неискусственности вариативности и при этом высоко оценить новизну и тщательность анализа огромного материала, введенного в научный оборот в свежей по мысли и побуждающей к новым исследованиям книге В.Б. Крысько.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Живов В.М. 1993 — Унификация склонения существительных в косвенных падежах мн.числа в памятниках XVII века: характер вариативности и обусловливающие ее факторы // Сб. статей памяти Г.А. Хабургаева. М., 1993.

Князевская О.А., Демьянов В.Г., Ляпон М.В. (ред.) 1971 — Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971.

Крысько В.Б. 1994 — Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.

Падучева Е.В. 1985 — Высказывание и его соотнесенность с действительностью. Референциальные аспекты семантики местоимений. М., 1985.

Пешковский А.М. 1956 — Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-ое. М., 1956.

Повесть временных лет 1962 — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по академическому списку. М., 1962.

Томсон А.И. 1908а — Родительный—винительный падеж при названиях живых существ в славянских языках // ИОРЯС. Сер. 2, 1908. Т. 13. Кн. 2.

Томсон А.И. 1908б — К вопросу о возникновении род.-вин.п. в славянских языках. Приглагольные род.п. в праслав. языке // ИОРЯС. Сер. 2. 1908. Т. 13. Кн. 3.

Томсон А.И. 1909 — К вопросу о возникновении род.-вин.п. в славянских языках. Сходные явления в других языках // ИОРЯС. Сер. 2. 1909. Т. 14. Кн. 1.

Bello A. 1981 — Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos // Ed. by Ramón Trujillo. Santa Cruz de Tenerife 1981.

Frink O. 1962 — Genitive-accusative in the Laureantian Primary Chronicle // Slavic and East European journal. V. 1962.

Hopper P., Thompson S.A. 1980 — Transitivity in grammar and discourse // language V. 56. 1980.

Klenin E. 1983 — Animacy in Russian. A new interpretation. Columbus (Ohio) 1983.

Labov W. 1969 — Contraction, Deletion, and Inherent Variability of the English copula // Language V. 45. 1969.

Meillet A. 1897 — Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux-slave. P. 1897.

Silverstein M. 1977 — Hierarchy of features and ergativity // Grammatical categories in australian languages. Canberra. 1977.

Stang Chr.S. 1939. Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. Oslo. 1939.

Terrell T. 1986 — La desaparición de /s/ postnuclear a nivel léxico en el habla dominicana // Ed. by Rafael A. Núñez Cedeño et al. Caracas. 1986.

Timberlake A. 1996a — "**Чємꙋ ѥси слѣпилъ кра҃т скон**": Templates and the development of animacy // Rling. V. 20. 1996.

Timberlake A. 1996b — On Grammatical (and Other) Change // Lingua (в печати).

UB-1896 (1981) — "Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch". Abt 1. 10: 1444—1449 / Hrs. von F.G. von Bunge, ab Band 7 im Auftrag der baltischen Ritterschaften und Städte fortgesetzt von Hermann Hildebrand, Philipp Schwartz und August von Bulmerincq. Darmstadt, 1905.